



**Владимир
ПРОНСКИЙ**

г. Москва

ЧУЖОЙ СЫН

Пчеловод Тихон Булычёв возвращался с пасеки и весело насвистывал. Радоваться было отчего: сегодня закончил осеннюю ревизию — двести ульев подготовил к зимовке. Теперь до самой весны работы почти не будет, только, как захладевает, надо убрать ульи в омшаник.

Около дома Булычёв увидел неродного сына. Щуплый, как подросток, Сергей, видимо, только что вернулся с рыбалки и теперь разбирался у веранды с удочками и посматривал в распахнутую дверь — наверное, говорил с матерью, — и Булычёву расхотелось домой. Он машинально взглянул на часы и вспомнил, что Сергей скоро пойдёт на шоссе к автобусу. Был бы Сергей родным, то бегом побежал, чтобы проводить, а тут ноги налились тяжестью. Постаравшись остаться незамеченным, плотный и тяжёлый Булычёв поспешно свернул за ближайший сарай и спустился к ручью.

Над селом стояла ранняя тёплая осень, трава показалась по-весеннему мягкой, и Тихон вольготно развалился на лугу. Стараясь не думать о Сергее, стал наблюдать, как за ручьём на огородах, копошась семьями, сельчане добирают картошку. Свою-то они с Валентиной выкопали неделю назад, а с сегодняшнего дня, когда сезонные дела пошли на убыль, осталось навести кое-какой порядок в саду да огороде, и тогда можно жить в своё удовольствие всю долгую зиму.

Хотя и не спешил Булычёв, а без дела долго не просидел: хочешь не хочешь, домой надо подвигаться, потому что чудно непьяному мужику валяться среди села. Пока дошёл, Сер-

гея встретил, готового к отправке. Рюкзак, как всегда, полон, на скамейке перед палисадником распузатился. Сергей в избу за чем-то забежал напоследок. А вот и появился, вместе с матерью вышел из веранды, — на дорожку о чём-то перешептываются, никак не наговорятся. «Ведь почти четыре года с вами живу, — нерадостно подумал Булычёв, — а всё ещё шепчетесь. Видно, всю жизнь будете скрывать!»

Тихон сошёлся с Валентиной в тот год, когда Сергея призвали в армию, а до этого лет пять, наверное, похаживал к Валентине тайком, после того как у неё умер муж. Тихон к тому времени был разведенный, ушёл от жены и жил с матерью, а та все уши прожужжала: женись, мол, и всё тут, а то молодые годочки убегут — кому старый будешь нужен? Даже подсказывала, кого упустить грех: Валентину. И объясняла своё пристрастие тем, что те бабы, какие от мужей гуляют да разводятся с ними, — те незavidные, вертушки, а Валентина не по своей воле осталась одна, никто о ней с самого детства плохого слова не скажет. Тихон для вида соглашался, но сделать решительный шаг не торопился. Так ещё год прошёл, второй — уж всё село шепталось, а мать пуше прежнего стала допекать, никак не успокоится: если путаешься — женись! Не срами ни себя, ни меня! Ему-то что, давно бы женился, да Валентина совестилась подраставшего сына и поэтому просила подождать, пока тот в армию уйдёт.

Летит время... Вот и в армии Сергей отслужил, и уже год минул, как вернулся. Правда, дома, увидев в нём чужого человека, после демобилизации не остался. Уехал в областной город — независимость сохранил — и устроился на нефтезаводе пожарным. Сутки дежурит — трое отдыхает. Поэтому к матери часто ездит. Все дети как дети — в выходные стараются помочь родителям, а Сергей на рыбалку любит ходить. Днями может на пруду пропадать. Даже прозвище заработал: Шукарь, как у Шолохова.

— Что же пустой-то идёшь, Серёж? — насмешливо спрашивали соседи, когда он частенько возвращался без улова.

— Мне не рыба нужна, а чистый воздух! — отвечал без всякого стеснения и посмеивался,

словно тот, кто задавал столь нестоящий вопрос, ничегошеньки не понимал в жизни.

Так же и с Тихоном разговаривал: с ухмылочкой. Булычёв как-то сказал ему по-мужски, прямо, что не дело так кривляться, ведь не совсем уж чужие-то, но в ответ — ухмылочка, словно и не с ним говорил. «Ну, если не хочешь по-людски, тебе виднее, — подумал Тихон. — Только в следующий раз и от меня ухмылочки будешь получать!»

Сергей и после того разговора почти не обращал внимания на отца, всё с матерью продолжал о чём-то шушукаться да рюкзак не уставал возить. «Что она ему пихает-то туда?» — удивлялся Тихон, думая о жене. Нет, ему не жалко, если Сергей когда курёнка возьмёт, полсотни яиц или банку сметаны — не жалко, своё. Про мёд он уж и не говорил. Только за чем тайну-то из этого делать? Или он против чего скажет? Ведь и к нему дочь нет-нет да заглянет — тоже без гостинцев не уходит. Но не таится, не прячется ни от кого — отца родного ведь навещает. Сергей так не может, ему всё надо сделать украдкой, будто подарки от этого слаще бывают. Вот и сейчас: поцеловался с матерью на прощание, а ему, Тихону Александровичу Булычёву, известному на всю область пчеловоду, кивнул, как ровеснику, и ухмыльнулся по привычке.

«Ладно, бог с тобой! — вздохнул Булычёв. — И без твоего уважения проживу!»

— Тихон, иди есть, что ли! — позвала Валентина, когда сын скрылся за поворотом.

— Иду, иду. Сначала руки надо помыть, — неохотно отозвался Булычёв от рукомойника.

Когда сели за стол, Тихон спросил:

— Сама почему не ешь?

— С Сергеем пообедала. Не смотри на меня... — стеснительно отозвалась сидевшая рядом Валентина: мясистая, краснощёкая и почему-то сильнее обычного пахнущая кислым молоком.

«Конечно, чужой я вам, — покосился Тихон на жену, и ему сразу расхотелось есть. — Вам только побольше мёда носи, сено коси, дрова готовь... Затем, наверное, и нужен».

Из-за стола он вышел в сад покурить, хотя курил редко, потому что говорить с Валентиной не хотелось. Проходя мимо молоденькой

яблони, Тихон остановился, долго рассматривал порыжевшую листву и всё никак не мог понять, чего в ней не хватает... И, наконец, догадался: яблок! Только сейчас сообразил, что не осталось ни одного! И сразу вспомнились они, выпиравшие из Сергеева рюкзака. Ещё удивился тогда и решил, что то была картошка. Румяно-жёлтые крепкие яблоки по названию «Красный богатырь» впервые уродились на яблоньке в этом году. Яблок было немного — одиннадцать, но каждое с кулак, и Булычев радовался, что не зря посадил яблоню в том году, когда перебрался жить к Валентине. После первого цветения всё нынешнее лето он терпеливо ждал, когда плоды созреют по-настоящему, чтобы узнать их вкус, выносливость, да и просто полюбоваться, потому что во всём саду не уродилось более ни единого яблочка. Только на его красном богатыре; и он гордился этим, словно это зависело от него. И вот яблок нет, словно и не было никогда, потому что у Сергея хватило совести оборвать их все. И дело, конечно, было не в яблоках — их жалеть не хотелось, — а в чём-то другом, чего Тихон не мог передать словами.

От обиды у него всё задрожало внутри. Сгоряча хотел тотчас догнать Сергея, навешать тумачков, но не стал позориться. Немного успокоившись, но по-прежнему не находя себе места, Булычёв сходил в сарай, взял топор и, вернувшись в сад, одним ударом срубил яблоньку и долго смотрел на неё, кудрявую, лежавшую на боку, словно просил прощения. Потом, когда нёс яблоню в овраг, навалился стыд. Он боялся встретить кого-нибудь из соседей, крался, непривычно ссутулившись, словно за ним действительно наблюдали. Тихон стонал от обиды на Сергея, на самого себя и даже на покойную мать, толкнувшую когда-то жить с чужим сыном.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Вальяжного доцента Нечайкина считали в университете старомодным из-за пальто покроя «реглан» и волнистой смоляной гривы, увенчанной чёрным беретом с сентября до июля. На переуды доцент не обращал внимания, редко что могло его взволновать, но сегодня произошёл именно такой случай. Получилось всё само собой, едва он случайно встретился на выходе из метро с соседкой по дому, у которой вёл курс по литературоведению; Юлия была на хорошем счету, и он всегда благоволил ей. Она знала об этом. Поэтому, сказав «здрасьте» и смешно сморщив остренький носик, хитро блеснув серыми глазками, Юлия легко спросила:

— Ефим Леонидович, а вы бываете на катке?

Тема коньков для Нечайкина родная, потому что в юности он увлекался ими по-настоящему, выполнил норматив первого разряда, правда, на этом достижении и остановился, а коньки, повзрослев, что называется, повесил на гвоздь.

— Давно, Юлечка, не ходил, но с тобой непременно отправился бы.

— Тогда давайте вечером сходим. Вспомните фигурное катание!

— Не было у меня ничего фигурного — сплошь тупое многоборье.

— Всё равно ведь на коньках уверенно себя чувствуете.

— Скажем так: чувствовал.

— Вот и классно! Так что пора доставать коньки. Или в прокате возьмёте?

— Без проката обойдусь... Во сколько встретимся?

— Можно в семь. Пока дойдём, пока то да сё — как раз сеанс начнётся.

Договорившись, они расстались, и Нечайкин вломился в квартиру совершенно шальным, едва не расплескав искры из чёрных глаз. Мама, Флора Матвеевна, хотя изрядно располнела в последние годы, стремительно появилась в прихожей и, запахнув на груди мятый халат, словно от сына действительно летели искры, отчаянно удивилась:

— Фима, что я вижу: на тебе лица нет! Что случилось, мой мальчик?

Ответил Ефим не сразу, да и как скажешь, что собрался с девушкой на каток, решил вспомнить молодость. Он, конечно, старым себя не считал, хотя имел сына-подростка, которого жена после развода увезла куда-то в пригород. Мама придерживалась такого же мнения и чуть ли не каждую неделю приглашала малознакомых женщин, говоря при этом, чтобы Фима непременно выбрал какую-нибудь на предмет серьёзной женитьбы. И как сказать маме, что мечтает о студентке, пусть даже четвёртого или пятого курса. Ровным счётом ничего не скажешь. А ведь на их кафедре многие преподаватели женаты по нескольку раз: Эдуард Иванов, Марк Цветнов, Георгий Подоржельский. Даже Степанов Николай, говорят, подал документы на развод. А чем он, Ефим Нечайкин, хуже этого фанфарона. Взять, например, ту же Юлию. Одна из лучших на втором курсе: прилежна, любознательна и на мордашку симпатична. Из прекрасной семьи. Папа служит в Министерстве иностранных дел, мама — в банке на хорошей должности. Удивительные люди, особенно Юлин папа, с которым он однажды беседовал. Пяти минут хватило, чтобы понять, какая благородная душа у этого человека. Так что в случае женитьбы на его дочери перспективы открывались бы роскошные... Ефиму захотелось поделиться сегодняшними планами с мамой, порадовать её... Но как скажешь с порога?.. Поэтому притворно удивился:

— Мама, о чём вы? Обычное лицо — всегда от работы такое.

— А мне кажется, Фима устал!

— Ничуть. Даже вечером иду на каток.

— Опять?

— Нет, мама! Приятель попросил коньки!

— О чём ты говоришь, какой каток в твои годы, когда о семье надо думать, о докторской — ведь всё забросил! Уже идёшь с какой-то студенткой?

— Нет, мама, с приятелем! — ответил он спокойно и доверительно, чтобы не обидеть Флору Матвеевну, и пошёл мыть руки.

Воодушевившись предстоящей встречей,

Ефим от обеда отказался — ограничился чаем с печеньем. Потом решил приготовить коньки. Пока рылся в кладовке, переложил кучу вещей. Коньки были беговые, показались непомерно длинными и за всё цеплялись лезвиями. Проще взять напрокат, но Ефим резонно решил, что прокат ныне очень дорогой, да и грибок ногтей можно заразиться. Зато как радостно прокатиться на «ножах», вспомнить юность!.. Прекрасное было время!

Приготовив коньки и переодевшись в спортивный костюм, Нечайкин нетерпеливо посматривал на часы, боясь опоздать. Но, чтобы не мёрзнуть, он вышел на улицу за две минуты до назначенного Юлей времени. Вскоре скрипнула дверь в соседнем подъезде, и вышла она: в сиреневой лёгкой куртке, белой шапочке и облегающих рейтузах, с коньками и термосом в сумке. Хочешь не хочешь, засмотришься. Но засматриваться некогда, да и неприлично.

— Пойдёмте! — позвала она.

— Да-да, непременно, — торопливо согласился Ефим и перекинул коньки через плечо, как прежде носил их, решительно попросил: — Можно твою сумку!

Они миновали почти безлюдные полутёмные дворы сталинских зданий, потом тоннелем, где обычно собирались хулиганы, нырнули под шоссе, железнодорожную насыпь и оказались на территории стадиона. Ефим, чуть отстав, незаметно косился на Юлю, представляя, как, взявшись за руку, будет кататься с ней, говорить что-нибудь приятное, а когда будут возвращаться — непременно пригласит на чай. Даже не верилось, что всё это может произойти сегодня, и для этого и делать-то ничего не надо особенного: всего-то сходить на каток, как в старые добрые времена, ну и немного потратиться на билеты.

В раздевалке они убрали куртки и обувь в шкафчики и, находясь в прекрасном настроении, вышли по резиновому коврику на лёд. А на льду вольготно расплескалась музыка, всё залито светом, от тесноты и улыбок приятно рябит в глазах. А воздух!.. воздух-то какой: морозный, сухой, звонкий!

— Покатили! — не сдержав озорного настроения, выкрикнула Юля и сразу же умчалась.

Ефим же, казавшийся толстым из-за цигейковой безрукавки, надетой под свитер по настоянию Флоры Матвеевны, сразу отстал, опасаясь кого-нибудь зацепить длинными коньками. Не имея возможности привычно разогнаться, едва переступая, катился следом неуклюже по сравнению с другими и пожалел, что не взял в прокате обычные коньки, называемые в детстве гагами. Уж на что, помнится, были удобными, особенно для хоккея. Но Флоре Матвеевне очень не нравился хоккей, и она убедила Фиму перейти в конькобежную секцию... И вот теперь все смотрели на Фимины обшарпанные ботинки и растрёпанные шнурки в узлах, на «ножи»-длинномеры, чёрный берет и ухмылялись, а ему ничего не оставалось, как делать вид, что ничего и никого не замечает, хотя видел, как Юля уехала далеко вперёд, как, почти сделав круг, оказалась рядом с парнем в красном свитере.

Если бы Ефим мог услышать, о чём они говорят, то сразу расстроился бы, хотя Юля лишь спросила у парня, показавшегося Ефиму знакомым:

— Успел в больницу?

— Успел-успел. Отец привет передаёт!

Они поцеловались и, взявшись за руки, влились в общее круговое движение, затягивающее, казалось, безвозвратно. Когда проезжали мимо, Ефим окликнул Юлю, даже слегка махнул ей, чтобы напомнить о себе, но она не отозвалась, а он вдруг понял, что более не нужен ей, что она, оказывается, шла на свидание, используя преподавателя лишь только для того, чтобы безопасно дойти до катка.

Через два круга Юля всё-таки соизволила подъехать, но лучше бы не останавливалась, потому что на неё, улыбающуюся, он теперь не мог спокойно смотреть.

— Вот, познакомьтесь, Ефим Леонидович! — указала она на парня. — Мой друг Алёша. Учится на третьем курсе в нашем университете.

Нечайкин пожал горячую руку, взглянул на розовощёкое лицо Алексея, его непокрытую голову и почувствовал, как самого затрясло. Но виду не показал, даже высказался по-отечески:

— Мы немного знакомы... Очень рад! Вперёд, молодёжь!

Когда они упорхнули, Ефим окончательно расстроился от Юлиного предательства и не хотел более смотреть в её сторону. Когда же она вновь равнодушно проехала, то ему, совсем пристыженному, ничего не оставалось, как по-тихому исчезнуть с катка.

Переодевшись, он еле-еле побрёл на ватных ногах, не желая более видеть счастливо улыбающиеся лица, слышать назойливую музыку — ничего теперь не радовало и ничего не хотелось. Он лишь мечтал поскорее попасть к маме и сказать, что в очередной раз она оказалась права. Проходя мимо мусорного бака, Ефим сорвал с плеча неуклюжие коньки и в сердцах швырнул их в гулкое нутро, твёрдо решив, что с коньками расстался навсегда. И сразу на душе полегчало. Но ещё легче стало, когда вспомнил, что скоро сессия... «Вот тогда посмотрим, дорогие Юля и Алёша, как вы будете улыбаться!» — согреваясь, даже закипая от радости, представил он, и ноги в этот момент налились силой, сделались невероятно крепкими и сами собой понесли домой.

Лишь на минутку Нечайкин задержался у подъезда, вновь подумав о Юле. Ведь она, в сущности, ни при чём. Это всё вероломный её дружок. Вот кого наказать надо. А перед Юлиным папой будет стыдно, если вдруг она завалит сессию. «Надо как-нибудь позвонить ему и сообщить, какая прекрасная у него дочка, какая она прилежная и уважительная!» — совсем уж воодушевившись, подумал Ефим и окончательно успокоился, решив ничего пока не говорить Флоре Матвеевне, чтобы раньше времени не волновать старушку.

Забутые души

Когда военному пенсионеру Станиславу Жихареву позвонили из Столетова и сообщили о кончине тёти Александры Ивановны, он сразу же собрался в путь. Тётя прожила жизнь вековой, родных почти не было, поэтому мать Жихарева тоже собралась на похороны, но он не взял её.

— И чего там делать будешь? — грубовато спросил он, приобняв плачущую маму.

— С Шурой прощусь — вот чего! Сестра всё-таки!

— Ну и как себе это представляешь, если к коляске приросла? Так что, мам, нет такой возможности. Помолись за тётю Шуру — этим и успокой себя. А я всё улажу. Не переживай.

Этот разговор был две недели назад. Тогда Жихарев ездил в Столетово с женой, оставив больную мать на попечение дочери. После похорон, уладив дела с нотариусом, он заказал в бюро оградку на могилу и заколотил заднюю дверь. Напоследок они с женой отключили свет и газ, очистили холодильник, снимали с насеста полдюжины кур и отнесли соседке Петровне, навешали замков и уехали в город.

И вот, узнав на днях известие о готовности оградки, Жихарев вновь оказался в Столетове. Сразу заехал в бюро, договорился, что завтра оградку отвезут на кладбище, и поехал к знакомому дому. Остановился, вышел из машины, присел на лавочке, наливаясь покоем и чистым воздухом, настоящим на запахе отцветающей сирени. Мог бы так сидеть бесконечно, но до слуха донеслось шуршание в сарае. Когда шуршание повторилось, заинтересовался, зная, что там никого не должно быть.

Он прошёл за ограду, отыскал нужный ключ. Когда открыл ворота, переступив через грязь недавней лужи, то увидел лежавшую на боку индюшку, смотревшую на него одним глазом... От её неподвижного мутного взгляда он оторопел. «Ты чья, как попала сюда?» — сразу резанул душу вопрос. Посмотрел далее и увидел десятка

полтора индюшат; некоторые из них закопошились при его появлении. И Жихарев всё понял. В тот день, когда они с женой отдали кур соседке, не заметили в тёмном углу сидевшую на гнезде индюшку, а она в положенный срок высидела индюшат и оказалась вместе с ними в западне. И как только эта мысль пронзила сознание, он метнулся в дом, набрал из крана воды в подвешенную миску и побежал к умирающим птицам. В этот момент он не заметил, как начали дуть слёзы, а руки задрожали.

Перво-наперво он собрал шевелившихся птенцов, попытался напоить, но у них совсем не осталось сил. Тогда Жихарев, набрав в рот воды, начал буквально вдвухать её в сухие рты. Когда индюшата, зашевелив острыми языками и широко раскрывая клювы, напились, Станислав напоил изо рта индюшку, взяв её на руки, — невесомую, как комок ваты, покрытый перьями. Она сперва мотала головой, будто захлёбываясь, пускала пузыри из маленьких ноздрей, а потом, промочив горло, сама потянулась к миске с водой. Запрокинув голову, попила, но обессилела и завалилась на бок, продолжая шевелить клювом.

Глядя на птиц, Жихарев подумал: «Господи, за что им такие страдания, сколько же им выпало испытаний в этом сарае?!» Ему в какой-то момент показалось, что это и не птицы вовсе, а маленькие высохшие люди, превратившиеся от накрывшего несчастья в невесомые существа. Он вспомнил историю из своего детства, когда, пятилетним, играя, забрался в сундук, крышка которого захлопнулась на петлю, и просидел в темноте несколько часов, чуть не задохнувшись. Звал на помощь маму, обыскавшуюся сынишку, не слышавшую его криков из-за включённого радио. И вот теперь эти птенцы... Он сбегал в дом и, вернувшись, начал поить повторно, подталкивал птенцов к воде, и они, едва удерживая равновесие, пытались самостоятельно тюкаться клювами в миску.

В какой-то момент индюшка тоскливо посмотрела на Жихарева, будто собралась умирать.

— Отставить! Не для того дождалась меня! — серьёзно сказал он, будто она могла понять его приказ.

Индюшата принялись встряхивать распущенными пёстрыми крыльями, словно стесняясь

растрёпанного вида, а Жихарев начал думать, чем накормить птиц. Он знал, что после долгого голодания никому нельзя переедать. Достав из машины сумку с продуктами, колбасу и сыр Станислав отложил, зато крошил хлебешка, размочил его. Индюшка сразу схватила кусок с его ладони, а птенцы не понимали, чего он хочет от них. Но стоило положить им в клюв по маленькому кусочку, они сразу потянулись к его руке, запищали, загалдели, окружили.

Покормив всех, он сел у раскрытых ворот на подвернувшемся пенёчке, с замиранием сердца наблюдая, как его заморыши наливаются силой; слегка жмурясь, начинают вытягивать шеи, пытаются разглядеть новую для себя жизнь по ту сторону ворот. Мутная плёнка сошла с их глаз, и они тарасились на открывающийся мир чёрными бусинками, словно любопытные дети.

Индюшата быстро устали после счастливого спасения и в какой-то момент как по команде уткнулись клювами в земляной пол, будто закончили. Жихарев подумал, что околели, но заметил, что их спутанные пёрышки на брюшках слегка шевелятся от дыхания.

Стараясь не разбудить живых, он собрал бездыханных и закончивших птенцов в пакет, взял лопату и на участке похоронил их. Когда вернулся, решил перекусить. Налил из термоса кофе, достал бутерброды. Теперь можно было спокойно посидеть, зная, что выжившие птенцы не пропадут. Думая о них, он радовался своей размякшей душе, и эта мягкость давно не посещала наполовину седого полковника, привыкшего быть грозным.

Жихарев не заметил, как, переваливаясь по-гусиному, подошла приземистая соседка, окликнула:

– Станислав Фёдорович, с прибытием! Вот яичек несусь к столу!

Жихарев приложил палец к губам.

– Что такое? – удивилась соседка.

– Загляни в сарай. Только не шуми.

У соседки сразу родилось любопытство. Когда она вернулась, то испуганно перекрестилась:

– Это что же такое творится-то? Неужели одни выжили?

– Доживали... Ещё немного – и всем бы конец пришёл! Хорошо, корытце с комбикормом оставалось.

– Ой, они, значит, с похорон там томились! Я-то думала, что вы с женой продали кому-то индюшку. А что же они пили-то?

– Наверное, из лужи у ворот. Дожди часто шли?

– Перепадали время от времени.

– Это и спасло их. Так что теперь забирай выводок себе, выхаживай. Я своё дело сделал. Только сразу много не корми. Денёк-другой – помаленьку. Давай-ка сразу перенесём, пока они не оклемались по-настоящему, а то разбегутся – потом не поймаешь.

– Ой, погоди, парень... И чего же мне с ними делать, такими квелыми. Забот будет полно, а неизвестно – выживут ли?! Только зря на них корм переведёшь.

Станислав не думал, что соседка откажется, помня, как она недавно радовалась бесплатно доставшимся курам. А теперь другой поворот. Если бы знал, по-иному поступил бы тогда. Хотел укорить, но язык не отважился на обидные слова.

– Ну, ладно. Тогда пойду в доме разберусь! – сказал он, желая поскорее расстаться с соседкой, сразу ставшей неприятной.

Видимо, поняв его, она быстренько укувыляла, а он подошёл к индюшке, заглядывавшей ему в глаза, сказал, словно она могла понять:

– Страшное позади. Не переживай – найду тебе новую хозяйку. Мир не без добрых людей. Мог бы, конечно, в город отвезти, но жена не одобрит. Да и где держать? На балконе? По уставу не положено!

Поговорив с индюшкой, прикрывшей собой птенцов, он вернулся на лавочку и долго сидел перед домом, ничего не желая делать, а тем более о чём-то думать.

Позвонила жена, укорила:

– Чего молчишь-то? Ведь обещал сообщить, как доедешь! А то я переживаю!

Он мог бы удивить невероятным случаем, но не хотелось пересказывать то, от чего пока не пришёл в себя. Поэтому ответил по-офицерски немногословно и чётко:

– Докладываю: я в Столетове. Всё у меня штатно.

МамИНЫ руки

В последние дни подморозило, дорогу, надо думать, трактора накатали от большака... Подумав так, я за полчаса собрался в деревню, уложил вещи, в том числе пишущую машинку, в багажник «жигулёнка» и рванул в Рязань, далее — в Пронск, как было задумано. Ехал с радостью на душе от изданной первой книги, спешил обрадовать маму, оставшуюся недавно вдовой... Не везло ей с мужьями: первый погиб на Великой Отечественной, второй, мой отец, Дмитрий Иванович, умер рано, а три месяца назад мы похоронили и отчима... Поэтому я старался, располагая свободным временем, не забывать маму, частенько навещал, коли другим её детям некогда.

И вот я вновь в своём деревенском доме, успел отоспаться... Но прежде повалялся в постели — захотелось после славных дел последних месяцев, связанных с изданием книги, расслабиться и побаловать себя ленью, зная, что предстоит разделка туши поросёнка, забитого перед моим приездом мужиками-соседями. После лёгкого завтрака наточил топор, затащил задеревеневшую тушу в кухню и, подложив доску, начал рубить с ног и головы. Потом отхватил зашеину, рассёк бесчувственного Борьку по хребту и каждую половину разделил на три окорока. Вырезал из них кости, подстелив клеёнку, уложил окорока на полу, а мама натёрла крупной солью сало, называемое у нас ветчиной, потому что вместе с салом принято засаливать и слой мяса. Один окорок осыпала чесноком — на любителя. Всё. Был Борька — и нет его, лишь голова с закрытыми глазами смотрела пятачком в потолок. На обед я накрутил мяса для котлет. Пока они жарились на плите, мама достала из печи два чугунок: один — с грибным супом, другой — с тушённой на свиные соляной.

— Ну вот, мясо с мясом будем есть! — при-

щёлкнул за столом языком, когда мама подвинула ко мне угощения.

Наблюдая за её руками, кажется, впервые заметил, какие они натруженные, с бугристыми суставами. Уж сколько они переделали за долгую жизнь разных, порою грязных работ, отчего пальцы были в воспалённых заусенцах, ногти неровные! Пришедшая мысль меня будто уколола: «Ведь ничего не стоит распарить её руки в тёплой воде, аккуратно постричь ногти и просто прикоснуться, передать своё тепло!»

От такой мысли у меня и на сердце потеплело, вспомнились прежние времена. Ведь маму в Княжой всегда считали культурной, да и было отчего: жена главного инженера завода! Какая жительница могла похвалиться таким положением? Вот только мама никогда не хвасталась, скромность не покидала её, зато стеснительность — это её нормальное состояние. Почему-то особенно запомнилось, как она вела себя в гостях за общим столом. Уж, бывало, вся искраснеется, не зная, как взять вилку. Самый для неё лучший вариант — вообще ни к чему не прикасаться. Положит перед собой пирожок и весь вечер глядит на него, не поднимая глаз. Папа уж и не обращал на её причуды внимания, а если обратит — беда. Могла подняться и уйти.

Напомнил ей об этом и сказал, улыбнувшись, что у культурного человека руки должны быть ухоженными, а она сразу отмахнулась:

— Какие есть. Я с малых лет в работе. Ты-то тоже дурака не валял, особенно когда отца не стало.

И я вспомнил, как в то лето впервые заработал денег, обозначая тяжёлой геодезической рейкой точки на плане, по которому на дальней окраине Пронска наметили строить новую ферму. Маркшейдер, гонявший туда-сюда, оценил мои дневные старания в пять рублей. Принёс их маме, получив в совхозной кассе, а она прослезилась.

— Молодец! С тринадцати лет начал деньги зарабатывать. Я-то полжизни прожила, прежде чем узнала, что это такое — получать казённые денежки.

— Ты же всю жизнь в трудах, а начала лет с

восьми нянькой в Пронске у Белкиных! — напомнил ей.

— Это так. Только деньги за меня получала маманька, а потом я полжизни в колхозе горбатилась, пока руку не сломала, да только там с нами расплачивались не золотыми червонцами, а натурпродуктом — соломой, зерном, иногда через кооперацию немного сахара дадут или масла подсолнечного. Как хочешь, так и живи. Лишь в сорок лет получила первую получку деньгами. Под Москвой это было, куда мы переехали из Литвы. Устроил меня твой отец на водокачку дежурной. Работа простая: лампочка на башне водокачки загорелась — иду включать мотор. Через двадцать минут она погаснет — мотор выключаю и возвращаюсь в барак.

— А что, — говорю, — чистая работа, и не переломишься!

— Это верно. Только по работе и платили. Помню, в первую получку за неполный месяц отхватила 167 рублей тогдашними деньгами и две облигации займа по десять рубликов навязали, а всё равно радость невозможная. Растерялась, не зная, что дальше делать. Вышла из конторы, а на улице увидела Дмитрия Ивановича и разревелась от счастья. Он удивился и долго смеялся, узнав причину, даже подковырнул: «Надо первую получку обмыть!»

— Обмыли?

— «Обмыли»... Накупили конфет, пряников — всей семьёй устроили чаепитие.

Всё это я ясно представил, глядя на мамины руки. Поэтому после обеда молча нагрел небольшой тазик воды, позвал её из спальни, усадил напротив себя. Она сперва не поняла, что я затеял, но, когда опустил её руки в воду, отдернула их.

— Зачем?

— Мам, пора ими заняться. Давай-ка подстригу коготки, заусенцы почикаю.

— Нет-нет, — запротестовала она. — Я не барыня какая, чтобы возиться со мной. Лучше в баню отвези.

— И в баню отвезу, время придёт... Ну, и чего ты противишься-то?! Ведь всю жизнь за нами горшки таскала, давно пришла пора и детям о тебе позаботиться!

Она смотрела испуганными и удивлёнными глазами, словно не могла поверить в сказанное. Мои простые слова показались ей, видимо, настолько необычными, что она вдруг затряслась от всхлипываний. Она не рыдала в голос, а, скукожившись, склонила голову, словно стеснялась на меня взглянуть, и торопливо смахивала мокрыми руками со щёк слёзы. Говорить в этот момент я ничего не мог, да и не нужны были сейчас слова. Ведь напосми ей, что она перенесла в войну, какие тяготы и лишения испытала, растя детей, она ответит словно это не стоило ничего: «Не я одна, все так!» Поэтому я просто подсел к ней и обнял за плечи. Так и сидели, пока она перестала вздрагивать, а я попытался окончательно успокоить её:

— Мам, всё хорошо, всё нормально же...

Пока её руки отмокали в тёплой воде, я успел поточить ножницы и начал палец за пальцем аккуратно подстригать ногти, остерегаясь резануть «с мясом», потом подвернувшейся щёткой прошёлся по ним. Пальцы не очень-то слушались, а на левой, сломанной и плохо сросшейся руке, пришлось приспособливаться, добираясь до того или иного неуступчивого ноготка. Полегоньку-помаленьку все подстриг, вот только пилочки не имелось, и ободки остались, но всё равно стали почти незаметными без заусенцев. Ополоснув, я промокнул руки полотенцем, смазал своим кремом после бритья, и они стали мягкими, порозовевшими и душистыми. Я держал их перед собой и любовался ими, радовался удавшейся задумке.

— Ну, всё, сынок, хватит. Мне надо картошку на вечер чистить! — застеснялась она.

— Не позволю! Хотя бы полдня ничего не делай! Ну, пожалуйста, мам! — вполне серьёзно попросил я. — Вот с завтрашнего дня занимайся чем хочешь, а сегодня ты барыня!

Уж не знаю, что мама подумала, но молча вздохнула, улыбнулась:

— Тогда сам чисти, если напросился. Голодными нам, что ли, сидеть?!

— И почищу, и птицу накормлю, и овец!

— Какой же ты у меня, сынок, заботливый, какой желанный!

Скромно промолчав, действительно не позволил маме ничего делать: ни до ужина, ни после, даже сам помыл посуду. И вдруг стал замечать, что она будто бы привыкла к праздности. Ходила из кухни в комнату, заглядывала в спальню, где гремела дверкой шкафа, перебирала вещи в сундуке и постоянно поглядывала на свои руки, а потом и вовсе, надев новую зелёную кофту, вчера привезённую мною в подарок, уставилась в зеркало. Она заметила, что я улыбнулся, пошутила:

— Губы, что ли, накрасить?!

— А что, Надежда Васильевна, отличись!

— Рада бы, да нечем. Да и ни к чему, а то привыкну лентяйничать, тогда заголосишь с голоду.

Мы весь вечер шутливо переговаривались, а потом мама по привычке приняла клофелин от давления, уснула, а я стал дочитывать книгу. Свою, первую, недавно изданную...

...Давно это всё было, очень давно, но руки мамы и по сей день перед глазами, а на сердце хранится их тепло, неугасимо греющее и греющее душу.

КАЛИНОВЫЙ берег

Давно он не был на реке, но вот вспомнилось заветное место на берегу, и воспоминание подстегнуло, заставило торопливо надеть сапоги, куртку. Подумав, взял спиннинг, чтобы не идти пустым. Когда собрался, показалось, будто окликнули с улицы голосом Светланы: «Алексей!» Через веранду вышел на крыльцо, но, никого не увидев, вздохнул: «Опять померещилось...»

Частьенко Алексей Петрович стал замечать за собой несурязицу. Она и во сне снилась, хотя в такие моменты он словно и не спал, а укрывался невесомой кисеей — всё видел и слышал, а если окончательно просыпался, то всё улетучивалось. И тогда досада брала, словно от великой потери. Вот и теперь на улице никого не оказалось, лишь безмолвная ворона застыла чёрной головешкой на берёзе перед домом. Ворону он замечал уж несколько дней и не понимал, откуда она прилетала и зачем. «Моей смерти, что ли, ждёт, окаянная! — сердился Алексей. — Плечи мне пока рано опускать и на тот свет торопиться...» И вспоминал жену, которую Бог рано прибрал: «Вот когда Светлана поманит, тогда, значит, и время придёт, а пока чего же блазнить костлявую! На сына с дочкой хочется посмотреть, на внучат. Старший-то теперь самостоятельный — летом университет окончил, а два младших — подростки, уж до чего на выдумки горазды. На них поглядишь и, хочешь не хочешь, себя вспомнишь. Так что их деду пожить надо!»

Над селом нежилась бабье лето, летели паутины, и настроение от неяркого солнышка было таким же неярким, мягким, словно пребывал он в кисейном сне. Дачники к этому дню почти разъехались, а без них на улицах стало пустынно, временами дико; в иной день и человека не увидишь, а оставшиеся жители встречались во вторник и пятницу, когда приезжала автолавка. Запасутся провизией и колготятся по домам, занимаясь мелкими делами.

На этот раз ему встретилась Коблиха, жившая в конце порядка. Она постарше Алексея Петровича, но задора — молодым на зависть, работает в администрации уборщицей и всё обо всех знает. Не ходит, а летает по селу, лишь юбочонка серая из стороны в сторону вихляется. Пять минут поговорит, и все новости узнаешь. Не стерпела она и в этот раз, сразу укорила:

— Чё ж вчера за хлебом-то не приходил, а? Бабы испереживались: уж не заболел ли случаем?

— Да есть хлеб-то пока, а в пятницу сын свежего привезёт.

– Тогда другой разговор. А сейчас-то далёко ли наострился?

– Пойду блесну побросаю. Глядишь, к его приезду щучку-другую зацеплю.

– Ну-ну – зацепишь... Дачники всех переловили, мелюзгой не брезгают.

– Говорят, проходящие с верховий скатились... Ладно, надо идти, если собрался!

Коблиха всегда уважала его и Светлану, как и все в селе, называла их «врачами», хотя жена работала фельдшером, а он – спокойный, обстоятельный – вместе с ней шофёром «скорой». Но где теперь Светлана – всегда торопливая и покрасневшая от заботы, когда Алексей не спешил к машине, чтобы отправиться на вызов, где он сам, если фельдшерский пункт закрыли, а его «буханку» списали. Обо всём этом говорить теперь нет смысла, если не осадить соседку, она будет час болтать лишь бы о чём, а ему хотелось прогуляться по приветной погоде, вспомнить давнишние деньки. А рыба? Будет – хорошо, не будет – и без неё обойдётся.

До обмелевшей реки и километра нет, но он решил сходить на Сашин омут. Омут назван именем чудаковатого парня, запутавшегося в чьих-то сетях и утонувшего. Давно это было. Но Алексея Петровича более влекла к омуту не рыбалка, а воспоминания о Светлане – любил с ней в молодости хаживать к нему. По вечерам молодёжь егозилась на «пяточке» вокруг гармошки или под радиолу в клубе танцы устраивала, а они, немного покрутившись на виду, спешили по росной тропинке к реке, устраивались под кустом калины, склонившимся над обрывом. И столько у них было разговоров и тёплых прикосновений, когда он укрывал Светлану пиджаком, чувствуя, как она дрожит от речной прохлады, – не счесть. Не понимал он тогда, что её пылающая душа трепетала не от озноба, а от него самого и его горячих губ.

Заветные дни остались в памяти навсегда. Вся жизнь он прожил со Светланой и часто вспоминал калиновый куст. Как-то напомнил о нём, а она не поняла его настроения, отмахнулась: «Мало ли их вдоль реки!» И он более не стал теревить, а когда выбирался порыбачить, сидел у калины, вздыхал и мог беско-

нечно смотреть на воду речного переката, тугими толчками выливавшуюся из чёрной глубины омота.

В тот год, когда не стало Светланы, берег в половодье подмыло, и заветный куст исчез, унесло его, растрепало в мутной воде – не найти следов. И вроде бы в этом не виделось ничего необычного, но для Алексея стало двойной потерей, словно кто-то пытался стереть из памяти жену и всё, связанное с ней. Но он-то помнил и всегда приносил ранней осенью букет огненных гроздей калины – отмечал её день рождения. Пусть это были гроздья с других кустов – неважно, главное, что Алексей считал этот подарок лучшим напоминанием о днях их молодости – сочной и незабываемой.

Он давно не появлялся у Сашиного омота из-за нехватки настроения, а сегодня вдруг что-то навяло, даже голос послышался... Вышел за село знакомой тропинкой, а у разлатого дуба свернул к омуту. В последние годы туда редко кто ходил: лощина заболотилась и, заросшая чертополохом и кустами, почти не просыхала.

Еле заметная тропинка из кудрявившегося рыжеватого ольховника поднималась в горюшку, оканчивавшуюся обрывом, и когда Алексей выбрался из зарослей, то растерялся от неожиданности. Там, откуда когда-то наблюдал со Светланой речные струи, переплетавшиеся в лунном свете или в бликах рассветного солнца, склонился под тяжестью налитых пурпурных гроздей молодой куст калины. Он непостижимым образом вырос, как показалось, взамен когда-то унесённого половодьем, и, возможно, ягоды на нём уродились впервые и оттого показались крупными, упругими, когда он к ним прикоснулся. Даже не решился сорвать, а держал на ладонях, ощущая прохладу и приятную тяжесть.

Алексей присел на обрыв и, забыв о спиннинге, вспоминал день за днём, год за годом, что согревало в совместной жизни, такой, казалось, короткой и ненасытной, будто находился в этот момент рядом со Светланой. И что можно сделать, чтобы вернуть её и продолжить счастье... Увы, это теперь невозможно,

сколько ни переживай. Он так и ушёл от ому-та, не сделав ни одного заброса блесны. Пытался и не мог понять, как так получилось, что молодой куст калины вырос на прежнем месте, словно для того, чтобы у него не рвались воспоминания, чтобы они всегда жили в душе и бесконечно грели её.

Вечером он долго не мог уснуть, в какой-то момент догадавшись, что калина появилась не сама по себе, а чтобы он как можно дольше помнил свою молодость и себя в ней. И Светлану помнил, и жил этими воспоминаниями и никогда не расставался с ними.

Через день приехал сын, переночевал и уехал, и вновь Алексей остался со своими мыслями. А как-то глянул – ворона на берёзе пропала, и он, повеселевший, отправился к омуту с другим настроением. У калины увидел стаю свиристелей, облотивших её. Птицы не успели оклевать ягоды, поэтому Алексей аккуратно срезал кисти и понёс домой, помня, что завтра у Светланы день рождения. Утром он отнесёт пурпурные ягоды на её холмик, а какие останутся – сохранит на веранде. Он и в недавние годы так делал. Калина всю осень горчила, но Алексею казалась самой терпкой и сладкой ягодой. Перед морозами он положит подсохшие кисти между оконными рамами, чтобы любоваться ими всю долгую зиму. И

ждать новой весны, и нового лета, и новой осени, когда созреют молодые кисти. От этих мыслей, от радости обновления Алексею Петровичу показалось, что всё окончательно и навсегда изменилось, не оставив и следа прежнего уныния.

В селе он встретил Кобли́ху.

– Во, добышной-то! Где же калины-то нарвал? Её нигде нет в этом году! – удивилась она.

– Нарвал вот... Держи кисточку... Это тебе от Светланы...

Ничего суматошная соседка не поняла, а он ничего не стал объяснять. Неторопливо завернул к своему дому, смешав в душе радость и печаль, и всё то, что обрушилось на него в эти мягкие дни ласково стелившейся осени.

□

Владимир Дмитриевич ПРОНСКИЙ

родился в 1949 году в городе Пронске Рязанской области.

Прозаик.

Автор романов «Провинция слёз», «Племя сирот», «Три круга любви», «Казачья Засека», «Стяжатели», «Герань в распахнутом окне», «Апельсиновая девочка», «Послушание во славу».

Публиковался в журналах «Север», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», «Подъём», «Странник» и во многих других, в коллективных сборниках, альманахах.

Лауреат премии имени А.С. Пушкина, Международной литературной премии имени Андрея Платонова, премии Союза писателей России «Слово-2018», а также премий нескольких литературных журналов.

Секретарь Союза писателей России.

